

К 83.3/2=Бело/8  
и 47

Н. Н. Илькевич

# «ДУША ДВОИЛАСЬ...»

*Повесть, рождённая в Смоленске*



СМОЛЕНСК

1997

## ИЛЬКЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

«Душа двоилась...». Повесть, рожденная в Смоленске. Предисловие Л. П. Стерховой.— Библиотека журнала «Край Смоленский», 1997.

Лицензия ЛР № 070781 от 9.12.1992. *2000 -*

Сдано в набор 27.02.97 г. Подписано к печати 04.03.97 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага кн.-журнальная. Печать высокая. Усл. п. л. 2,25. Тираж 500 экз.  
Заказ № 1731.

Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова.  
214000, г. Смоленск, пр. им. Ю. Гагарина, 2.

## ВОСКРЕШАЯ ИМЕНА

*Ни один человек не может сказать, что на нем нет вины: мы все виноваты в том, что происходило в последние десятилетия.*

*Д. С. Лихачев*

Последнее десятилетие XX века не только заставило по-новому пересмотреть историю России и Беларуси советского периода, не только расставило акценты, назвав черное — черным, а белое — белым, но и круто изменило судьбы многих людей.

И это не всегда связано со сменой профессии или социального положения. Меняется внутренняя, духовная биография людей, концентрируя весь предыдущий опыт прожитых лет. Эта работа, ума и души порой приводит к удивительным результатам... Именно так — итогом напряженной работы души и ума — мне представляются публикации Н. Н. Илькевича за последние годы. Свою тему он нашел сразу: судьбы людей, пострадавших от политических репрессий. Профессионально работая с архивами и документами, скрупулезно выверяя каждый факт, проводя серьезную исследовательскую работу, он не только воскресил десятки незаслуженно забытых имен людей, так или иначе связанных со Смоленщиной и Беларусью, но и вернул добрую память о них обществу, нуждающемуся в покаянии. Уже первые статьи Н. Н. Илькевича в журнале «Край Смоленский» отличались добротным научным подходом к теме. Это было замечено, и Н. Н. Илькевича стали приглашать на научные конференции и чтения, где его доклады всегда высоко оценивались специалистами. Николай Николаевич не спешил с публикацией книг: огромный материал, собранный им, требовал не только обработки, но и осмысления в контексте эпохи. Сейчас Н. Н. Илькевич — автор трех книг, и каждая из них не осталась незамеченной. В 1996 году Николая Илькевича приняли в Союз российских писателей.

Путь к Максиму Горькому — человеку и писателю — тоже начинался с изучения архивных документов, свидетельствующих о трагической судьбе белорусского интеллигента. На основе материалов уголовного дела 37—38 годов в 1993 году появилась первая статья Н. Н. Илькевича «Максим Горький», опубликованная в журнале «Край Смоленский» (№ 9—10). Н. Н. Илькевич продолжал поиск материалов о писателе, и в начале 1994 года ему удалось опубликовать уникальные документы о последних часах жизни М. Горького под заголовком «Расстреляны в Вязьме» («Край Смоленский», № 1—2). К счастью, имя Максима Горького, его книги вернулись к этому времени и в большую литературу. Изучением его творчества занялись не только в Беларуси, но и в России. Читая и перечитывая эти книги на русском и белорусском языках, Николай

Илькевич открывал и постигал сложный мир писателя. Его судьба, его книги будоражили душу. И логическим продолжением этой исследовательской работы стали публикации в «Беларускім гістарычным часопісе» и других изданиях, доклад на Первых международных Горецких чтениях, доклады на кафедре теории и истории литературы в Смоленском педагогическом институте.

Работа Н. Н. Илькевича, представляемая на суд читателей— первый его литературоведческий опыт. Но уже по этой публикации можно сказать, что вряд ли в ближайшее время подобная работа могла выйти из-под пера другого исследователя. Дело в том, что Н. Н. Илькевич не только глубоко проник в творческие искания писателя, но и, живя в Смоленске и хорошо, зная его историю, изучив атмосферу первых послереволюционных лет, исследователь сумел прочесть эту повесть через призму исканий самого М. Горецкого. И в этом — главная ценность предлагаемой работы.

Путь к Горецкому продолжается. Пожелаем Н. Н. Илькевичу новых открытий на этом пути.

В одном из интервью Д. С. Лихачева, символично названном «Тревоги совести», есть очень точные слова, вполне относимые и к делу, которому служит Н. Н. Илькевич: «Нам давно, пора было начать «разгрести» архивные «залежи». Широко открыть двери для той литературы, которую мы так долго замалчивали. Вернуть ее народу, нашей культуре. Это и неизбежность, и необходимость. Благодаря тому, что журналы стали публиковать «залежавшиеся» в архивах произведения, создаются благоприятные условия и для развития литературы, современной: возрастает культура — повышается уровень требований к тому, что пишется сегодня. Произведениям серым, проходным, конъюнктурным, роняющим достоинство литературы, не выдержать духа соперничества с произведениями высокой культуры, требовательного нравственно-этического содержания. А разве не радостно то, что мы широко открываем двери для нашей богатейшей литературы и прошлого, и настоящего? А разве не радость сознание того, что торжествует справедливость и даны должного воздается писателям, к творчеству которых мы так долго и упорно относились с несправедливой и унижающей наше достоинство подозрительностью!»

Л. Стерхова, редактор журнала «Край Смоленский».

*Светлой памяти моей бабушки,  
Горбачевой (Смирновой) Натальи  
Петровны, посвящаю.*

## «ДУША ДВОИЛАСЬ...»

### ПОВЕСТЬ, РОЖДЕННАЯ В СМОЛЕНСКЕ

Душа пылала дивным жаром...  
(«Пророк». Я. Купала).

#### I

Смоленский и российский читатель мало знаком с повестью «Две души» Максима Горецкого — известного белорусского прозаика. Произведение было написано в 1918—1919 гг. и тогда же опубликовано. Сначала повесть печаталась в виленской газете «Беларуская думка»<sup>1</sup>, а затем вышла отдельным изданием: Гарэцкі Максім. Дзве душы. Аповесць.— Вільня, 1919.

Повесть во многом автобиографична (хотя и не во всем<sup>2</sup>) и писалась М. И. Горецким по горячим следам событий 1917 — 1918 гг. Работать над произведением Максим Горецкий начал в Смоленске, где писатель тогда служил комендантом жилищного отдела Смоленского Совдепа.

Автор, непосредственный очевидец драматического развала могущественной Российской империи, свидетель хаоса, безвластия и беспорядков, запечатлевает объективную картину того, что на самом деле происходило с ним и его знакомыми в канун Октябрьского переворота и после него. Мы легко угадываем в «Игнате Осиповиче Обдираловиче, главном герое повести, самого Максима Горецкого, который после длительного лечения сначала в полевом, а потом московском госпитале, направляется для дальнейшего укрепления здоровья в Железноводск на Кавказские Минеральные Воды. Затем снова Москва, поездки в белорусскую деревню и, наконец, Смоленск, или город N., как его обозначил автор<sup>3</sup>.

Критика встретила «Две души» с одобрением. Тщательный, профессиональный разбор повести сделал З. Бядуля (газета «Беларусь», Вильно, 1920, 28, 30 мая), отметив наряду с бесспорными художественным достоинством ее и мастерством автора также одно немаловажное значение нового произведения: «некогда это будет интересным историческим материалом».. Способность

М. Горецкого к правдивому и наиболее близкому к реальности описанию «белорусской жизни в начале большевистского переворота» подчеркнул в своей рецензии на повесть Антон Луцкевич (Сборник «Наша ніва»: 1920. Вільня, 1920 г.).

Повесть была не только замечена этими и другими литераторами и общественными деятелями Западной Белоруссии, но оказала колоссальное влияние на ширящееся в тот период белорусское самосознание, наложила свой отпечаток на процесс национального возрождения. Образ главного героя произведения Игната Обдираловича, человека несомненно склоняющегося к праву на существование белорусской и украинской государственности; искренне любящего деревню и страдающего от ее отсталости, бедности и невежества; не принимающего новые порядки большевиков с их жестокостями, чрезвычайщиной, расстрелами, бесталанностью, узостью мышления; ищущего свою собственную позицию в экстремально-тяжелую осень 1918 года — полюбился многим белорусским патриотам, стал символом новой национальной интеллигенции. Характерный пример тому — штрих из биографии белорусского поэта и публициста И. В. Канчевского (1896—1923 гг.), некоторое время в 1917 г. работавшего в Смоленске инструктором Центрального Союза льноводов. Впечатление от философских размышлений, идейного поиска, постоянного глубокого самоанализа Игната Обдираловича было настолько велико, что И. В. Канчевский избрал себе в качестве литературного псевдонима имя главного героя повести «Две души» и стал подписывать им свои статьи. Не исключено, что под влиянием прочитанной повести последний подготовил и издал философское эссе, вынеся на обложку брошюры имя Игната Обдираловича (Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам: Досьледзіны беларускага сьветагляду. Вільня: Беларускае Выдавецкае Т-ва, 1921. 71 с.). Случай, что ни говори, редчайший.

И все-таки, несмотря на первоначальный успех, у повести «Две души» трудная судьба, как и трагична жизнь ее автора — Максима Горецкого, четырежды арестовывавшегося (1922 г.— дважды, 1930 г., 1937 г.) и расстрелянного в 1938 г. в г. Вязьме<sup>4</sup>.

Реабилитация повести «Две души» наступила только через 70 лет, в 1989 году, когда она была опубликована сначала в № 7 журнала «Польмя»; а в 1990 г., — в дополнительном, 5-м томе собрания сочинений М. И. Горецкого<sup>5</sup>.

Нельзя сказать, что белорусские литературоведы замалчивали существование произведения замечательного белорусского писателя. После посмертной (окончательной) реабилитации М. И. Горецкого (январь 1959 г.), в литературно-критических статьях о писателе и его произведениях, вновь печатающихся, повесть «Две души» упоминается неоднократно. Правда, чаще всего, с различными оговорками, с непременным указанием или намеком на загадочность произведения. И даже честнейший Алесь Адамович, поставивший в

своей монографии о писателе<sup>6</sup> точку в спорах о роли Максима Горьцкого «в белорусском Литературном процессе», и смело определив его место в первом ряду классиков белорусской литературы, — даже он не мог до поры до времени во всеуслышание сказать свое откровенное мнение о значительности, цельности и важности этого произведения для понимания исторических процессов, очевидцем которых и явился автор повести «Две души».

## II

Целью данной статьи не является глубокий и всесторонний анализ и разбор всего произведения в целом. 100-летний юбилей М. И. Горьцкого (1993 г.), отмеченный в том числе появлением интересных книг о нем Т. Н. Дасаевой, И. П. Чигрина, научных сборников по Горьцким чтениям, дал новый импульс к изучению богатейшего творческого наследия белорусского прозаика. Над монографиями о М. И. Горьцком и его творчестве в настоящее время работают М. Мушинский, Т. Голуб и другие видные белорусские литературоведы.

Мы же ограничимся в нашем исследовании исключительно разговором о городе N. Именно так, как говорилось выше, автор зашифровал название города Смоленска, где разворачиваются события и где действует наш герой Игнат Обдиралович.

Но почему Смоленску автор уделяет так много внимания в своем произведении? Только лишь потому, что лично наблюдал все происходившее в городе летом и осенью 1918 года? Или потому, что через мысли, волновавшие Игната Обдираловича, его близких (Василь, Николай Наумович Концевой) и знакомых (Суховой, Ираида Евгеньевна Саковичанка) изложил свои взгляды на те бурные события, личные переживания, душевные терзания? И вообще: кто такой Игнат Обдиралович? Что он делает в Смоленске?

Игнат Осипович Обдиралович — выходец из семьи белорусского «помещика средней состоятельности», за четыре года (1914—1918) прошел по тяжелейшему лабиринту испытаний: война, непосредственное участие в боевых действиях, заболевание, связанное с исполнением служебных обязанностей, длительное лечение в госпиталях, разграбление крестьянами родового поместья в 1917 году, потеря фамильного состояния, разрыв с отцом, немецкая оккупация и невозможность вследствие этого посещения родных мест, несостоявшаяся любовь. Но последнее событие — смерть кормилицы Меланьи, «мамки», воспитывавшей Игната с младенчества, особенно потрясло его.

Осенью 1917 года Меланья, жившая с сыном Василем где-то на рабочей окраине Москвы, умирала. «Она знала, что смертушка стоит близко — в головах у нее». Найдя благовидный предлог, чтобы остаться наедине с Игнатом, она отсылает Василя к соседям.

«Больная вся вдруг затрепетала и подозвала прапорщика. Тот недоуменно и с чувством жалости наклонился над ней.

Взглянув на двери, она, вся дрожащая, обхватила его шею руками и, прижав его ухо к мокрому от слез сморщенному лицу, как в лихорадке зашептала:

— Мой ты!.. Мой родной сынок... А Василёк — панский. Переменила я вас маленьких, переложила. Рассуждала: счастливее так будешь... Мой ты, Игналик... Нет, ты — Василька, а он — Игналик... Мой...

И все крепче и судорожнее прижимала его умирающая мать к худым грудям своим».

Вот когда началось полное ощущение раздвоенности души. Еще пару часов назад Игнат мучил себя вопросами, на чьей же он стороне в этой непонятной революции:

«Да, свой или чужой, — подумал он с каким-то стыдом или раскаянием.— Я не знаю, кто мне свой и кто чужой. Я придерживаюсь дикого нейтралитета и обманываю тех и этих и самого, себя. Неужели панская кровь, которая течет в моих жилах, имеет тут какое-то значение? Ату, что за дурные мысли, — этого не может быть».

И одна половина его, которая понимала белых, молчала, онемела.

И другая половина его, которая понимала красных, требовала, чтобы он нашел князя и убил его...»

Но теперь, после похорон матери, любое, событие и любая новость воспринимались и обдумывались Игнатом так, как будто жили и соперничали в нем две души — сына помещика и сына бедной «Маланки», «няньки». Какая же из них возьмет верх и какая угаснет?

«<...> беспристрастный человек, посмотревший на него со стороны и обдумав каждое движение его внутренней жизни, сказал, бы, что если признание умирающей матери ничего не изменило в его отношениях (хотя бы в мыслях) к близким так или иначе ему людям (маме, старому Обдираловичу, убитой помещице, Василю), то незаметно для него самого такое признание уже изменило его отношение или, лучше сказать, — взгляды его на отношение к социальной революции и на участие в налаживании новой жизни. Раньше был он будто бы в стороне от народа, от крестьянской и рабочей массы, смотрел на революционную метель так, как когда-то на большой пожар в селе, — это значит — так, как может смотреть только посторонняя личность. Когда раньше видел, как на каждом вокзале, на каждой версте и чем ближе к фронту, так тем более катастрофично, рушилась жизнь великой империи, созданная кровавыми мозолями и потом этой массы; когда видел, как заодно с ней умирала кругом последняя совесть и погибала последняя надежда, что ком еще зацепится за какой-то сучочек и не разобьется на мелкие брызги под горой; когда рассуждал раньше буквально обо



всем, что делалось возле него, так и, опять-таки ставил себя в стороне, поодаль от народного несчастья, за проклятой чертой, только иногда всплескивал он руками, как кто-то порядочный над чужой бедой. Теперь же отличие его было в том, что, услышав признание матери, он будто бы ощутил и себя той массой, от которой стоял раньше в стороне. Если раньше на поступки всяких бессовестных охотников управлять несчастною людскою вереницею смотрел как на поступки одурелых, которые пока что шалят безнаказанно, то теперь встречал с особенной болезненностью каждую с их стороны неправду, хотя и оставался еще в угоду своему характеру только посторонним созерцателем и тихим размышлятелем. Вместе с тем, все больше не любил тех офицеров, что все выезжали и выезжали за черту большевистского господства, и все больше испытывал неприязнь к саботажникам в этой черте. Вместе с тем, однако, все больше утешал себя, что сам уволен из армии по белому билету...»

Посмотрим дальше, насколько же устойчивы эти взгляды у Игната Обдираловича. Только ли осознание того, что по его жилам течет кровь простого человека, побуждает Игната к переосмыслению окружающего? Или все-таки основа мировоззрения – среда, в которой человек живет, его интеллектуальный уровень? И что чувствует Василь, молочный брат Игната, не знающий о тайне Меланьи и не ведающий о том, что он дворянской крови?

Василь — «серьезный, вдумчивый, чуточку печальный трудяга, который лучше рассуждал о значении событий и был горячим поклонником недалекой социальной революции», был как никогда деятелен и активен. Революционная романтика и предложение поехать в город N., последовавшее от большевика Ивана Карповича Горшка («Карповича»), приводят его к мысли бросить Москву. Василь зовет с собой оставшегося не у дел Игната Обдираловича, который соглашается покинуть «чужую Москву» и ехать поближе к родным местам.

Так 28-летний армейский прапорщик Обдиралович, кавалер Георгиевского креста, не имеющий средств к существованию, попадает в Смоленск. «За красивые пейзажи понравился Обдираловичу новый город, и прогулка по городским окрестностям была сладким для него успокоением от большевистской и саботажной бестолковщины на гражданской службе, где он начал работать, когда N-я войсковая комиссия демобилизовала его по белому билету.

Имел достаточно времени. Жил одиноко в небольшой и тихой еврейской семье. Нравилось гулять и любоваться красивой панорамой вокруг N., и размышлять о жизни»<sup>7</sup>.

Это уже был другой город, разительно отличающийся порядками от предвоенного и даже военного N. Обдиралович хорошо помнил, как во время войны Василя не пустили вместе с ним в зал для пассажиров первого класса на Смоленском вокзале. Причиной тому был нижний чин Василя. Такие, дико

несправедливые правила и унижительные порядки, не нравились Обдираловичу и он, вспоминая давний эпизод в Смоленске, утешал себя тем, что «теперь, однако же, не та пора», теперь все равны, нет никаких социальных различий и ограничений. В нем уже говорила и активно действовала разбуженная предсмертным откровением матери душа простого человека. Но одновременно с ней вступала в спор душа сына помещика, также жившая в нем, которая все время напоминала Игнату более свежие впечатления от вокзальной действительности: шумные толпы людей, «все нации и классы», битком набитый перрон, переполненные залы ожидания, грубость, хамство, «дикая людская суতোлка» и неразбериха.

Наблюдение за местной городской жизнью, да и сама жизнь успокаивали Обдираловича. Он еще не окунулся в ее контрастный душ, не познал страха, тайн и ужаса Смоленской чрезвычайки. Он с удовлетворением для себя отмечает, что «городской пролетариат заполняет во время отдыха кинематографы и театры, спешит в библиотеки-читальни, горячится на собраниях и сходах, везде громогласно шумит о своих правах и твердо, неуклонно защищает свои интересы». Вот она — настоящая свобода для простого рабочего человека! Обдиралович не только сторонний наблюдатель происходящего. Он пытается проникнуть в пролетарское сознание, найти что-то близкое себе по духу и настроению, ощутить точки соприкосновения с психологией пролетариата. Вот еще почему его тянет на улицы N. А там «уже ходили с песнями, с музыкой, носили знамена», «играл оркестр, а шеренги людей проходили и пели. Долетали звуки «Интернационала».

«Ему нравился мотив «Интернационала», нравилось пение», возбуждавшее «в нем силы и куда-то зовущее».

«Целиком этот день большевистского праздника бродил по улицам и скверу, был на площади и слушал речи ораторов с трибуны. Особенно нравился слушателям хромой Горшок. Хотя он не столько высказывал новые или важные мысли, сколько ругал разных помещиков и монахов, которые когда-то мучили его, бил кулаком в грудь и по выступу перегородки, и кричал тонким, звонко-писклявым голосом, хотя так, — но речь его простой народ принимал лучше и хлопал ему изо всех сил и с удовольствием».

Обдиралович не сторонится их общества; он хочет своим собственным умом дойти до сути происходящего, докопаться до истины. И ему кажется, что он понимает «манифестантов», видит в их действиях что-то родное, еще не до конца понятное и осознанное, но никак не чуждое ему и его душе. «Он всматривался, и слушал, и думал: «Я по недоразумению попал в панские сыны, я сын этой черной толпы и хотел бы повести ее лучше чем кто-либо к счастью».

Что это? Окончательное проникновение в суть проблемы, углубленный психологизм, интуиция, самоуверенность или подсказка только одной части души?

Тогда же о чем рассуждает ее вторая половина, более опытная, зрелая и дающая взвешенные оценки?

### III

А вторая половина души Игната стонет. Стонет от того, что этот чувственный и сердечный человек, ощущающий все окружающее каждым своим нервом, видит обнажившиеся проблемы белорусской деревни, заботы и страдания жителей окрестных селений.

«...Деревня...

Я ж ее люблю, но странную любовью, которую лучше определить известной половицей: скучно врозь, тесно вместе.

С болезненной чуткостью не выношу, когда сейчас ругают и хулят ее за жадность и укоряют в темноте и глупости. Но в глубине души своей, когда с безрадостной ограниченностью плавают в воспоминаниях ее постыдные образы, сам беспощадно поношу и упрекаю, слагая, все в своем наболевшем сердце.

Люблю и ненавижу вместе.

Всегда бывает так, что еще и месяца не пройдет, как для шумного города покину ее, неполюбившуюся, и уже хочу многое простить ей, уже мне обидно, что о «ей тут, в городе, так мало говорят и так немного пишут, как будто бы она далеко, далеко где-то за морем-океаном.

<...> я мысленно перелетаю в ничтожную глухую белорусскую весь. И чувство зависти к городу, и чувство презрения к ней, и боль за нее, и стыд за нее охватывают меня и гнетут, теснят, давят.

Как убийцу на место преступления, какая-то неудержимая сила тянет меня каждый базарный день на городской рынок «смотреть на деревню». Как выглядит-она теперь, при большевистском устройстве нашей несчастной жизни?

Бледные, исхудавшие дети городской голытьбы и худые, изнуренные женщины в изношенном городском костюме бродят там около крестьянских возов; с просительным, заискивающим тоном и с насильно скрываемой злостью обращаются они:

— Дяденька! Родненький! Не осталось ли с дороги немножко хлебца?

— Нетути хлебца, — невнимательно, даже не взглянув, отвечает тот, — вот кабы на табачок... — как будто без всякого интереса добавляет, однако, он сейчас же.

И долго, терпеливо выжидает на грязной площади под мокроватым, туманным, мглистым осенним небом, не клонет ли у него на табачок.

— Вот, дожили казаки: ни хлеба, ни табаки, — рассуждает он вслух, — за деньги ничегошеньки не достанешь.

И узнав, что газета стоит не пять, как когда-то, а тридцать пять копеек,

равнодушно отворачивается от мальчика-газетчика и вновь с унылым, как это осеннее небо, терпением ждет.

И нет ему абсолютно никакого дела до всего на свете. Пусть княжит и владеет кто хочет, лишь бы только достать вот табачку, да так ловко провести его домой, чтобы даже сосед не узнал об этом и не пришел одолжить щепотку.

И только на коротенькое мгновение оживляется и тянется вперед, оставляя воз свой, когда красноармейцы с автомобиля разбрасывают голытьбе бесплатные листовки, присланные на базар агитационным отделом из экспедиции.

И уже не так мне обидно, что и теперь, на страницах городской большевистской прессы, нет живого лица деревни: стыдом зарделись бы щеки ее небеспристрастных защитников»<sup>8</sup>.

В этом объемном отрывке и боль за темноту и убогость деревни, и переживание за отсталость «духовной жизни ее обитателей», «даже в момент величайших потрясений» и «грандиознейших сдвигов», даже в период такого «бурлящего водоворота», каким был 1918 год. Обдиралович прекрасно видит, что основная масса деревенского населения никогда не держала в руках книгу, предпочитая ей игральные карты, что в деревню вообще не проникает искусство, что крестьянин не желает давать деньги на школу и обучение детей и озабочен исключительно своими собственными житейскими делами. Но на самом-то деле спокойствие и равнодушие мужика — кажущееся. Это только внешняя оболочка. «Этот, клокочущий вулкан революционных событий» задел и даже очень больно крестьянскую массу. Новые большевистские порядки не нравятся крестьянам. Мужики возмущены дороговизной дров, обесцениванием денег, закрытием спиртзаводов, запрещением продавать излишки хлеба, преследованием за самогонование и угрозами расстрелов. Крестьянские сыновья, возвращающиеся домой с фронта, развращены большевистскими идеями, по любому поводу организуют деревенские собрания, «какие-то книжки политыцкие» достали и читают, кричат, что «все народное», создают в деревнях «советы», каким-то Лениным пугают: «когда станет Ленин здоров, не будет вам, старым, такой роскоши». Старики ненавидят своих детей, готовы их «съесть» за то, что те «разленились» на фронте, повывдумывали какие-то «самократии». Игнат верно подметил, что «зародыши» большевизма, «смелых революционных стремлений» нашли свою питательную среду именно у молодых. На вечный конфликт двух поколений это непохоже, потому что «крестьянская немилость к большевикам» основана на их (большевиков) разрушительной теории и бесчеловечной практике.

У Обдираловича щемит сердце от рассказа Василя, только что возвратившегося из командировки по деревням, где последний в составе большевистского отряда реквизировал у крестьян хлеб.

«<...> так я скажу еще несколько слов, чтобы показать, какая сволота есть и

среди молодых. Подвозил меня в дороге один бедный еврей-кузнец, он ехал в П-ский совет<sup>9</sup> за железом. Он приверженец коммунистических порядков, а наговорил мне про молодых своего села столько чего, что их всех просто следует повесить. Село бедное, так все молодые шли раньше в свет, в города, а теперь повозвращались домой бездельниками, бандитами и под знаменем большевизма глумятся над всеми крестьянами. Живут паразитами, повлезали в комитет бедноты, и никто их не трогай. Председатель комбеда — еще довольно молодой недоумок, был осужден в Москве за убийство, в этом году летом так побил граблями свою невестку, жену брата-земледельца, что та помучилась несколько дней и умерла, брата усадил в «чрезвычайку», будто бы за контрреволюцию, а отца ежедневно безжалостно бьет чем попало, по голове, гоняет старого на работу, а сам пьянствует да гуляет со своей бандой...»

Больно Игнату от всего услышанного. Он внимательно всматривается в лицо Василя, «весьма утомленного, похудевшего» в этой командировке, измученного. Василь «кажется Обдираловичу жалким и невеселым». Игнат находит сходство черт лица Василя и старого пана Обдираловича. Десятки мыслей и вопросов одновременно кружат в сознании Обдираловича; Мысли, казалось, перебивают друг друга, спешат высказаться первыми. Что было бы, если бы старый пан вот сейчас посмотрел на работу Василя; узнал бы, что этот большевик — его родной сын? Интересно, есть ли у Василя, сына помещика по рождению, какие-то сомнения в правильности своих действий? Неужели панская кровь и гены не подсказывают ему, что от насильственных реквизиций, в которых он принимает участие, страдают люди? Нет, похоже, что душа Василя не переживает и не раздваивается.

Пытаясь разобраться в своих мыслях и в поступках Василя, Обдиралович интересуется отношением мужиков к реквизициям, как же те воспринимают принудительное изъятие хлеба.

— Как принимают? — косо усмехнулся Василь. — Вот, так себе, как и где; где колами, где чем...

Игнат вспомнил недавние газетные публикации о подавлении крестьянских восстаний в различных уездах Западной Коммуны. Газеты писали об антибольшевистском характере восстаний в Усвятской и Касплянской волостях Велижского уезда, в Городокском, Полоцком и Невельском уездах, в г. Велиже. Обдиралович не очень-то верил в сообщения чрезвычайной следственной комиссии, помещавшиеся в ряде смоленских газет. Не верил, но хотел знать истину.

В некоторых волостях крестьяне восстали... — сказал Обдиралович, наполовину спрашивая.

— Ну, восстали, понятно... — в тон ему ответил Василь и опечалился,

прищурившись от возмущения, от чего на лице образовались морщины, а щеки его пылали во время разговора.

А потом сказал: — Еще хуже то, что поручают подавлять восстание и карать повстанцев таким - бестиям-кровососам, как разные пьянюги из бывших офицеришек, как эти всякие Горелики...

Произнеся эти слова с большой злостью, Василь спохватился, что и гость его — бывший офицеришка, он почувствовал тепло на щеках и искоса взглянул на Обдираловича. Злость, однако, не прошла.

— А что такое? Кто этот Горелик? — спокойно спросил гость.

— Какой-то пьянюга капитан, а может, даже был и жандармом когда-нибудь. Втерся в доверие к нашему Карповичу, научил его пьянствовать, их послали подавлять восстание, а они... они без милосердия порасстреливали совершенно невиновных людей, темных крестьян.

Игнат расстроился. Ему было жаль крестьян, убитых большевиками. «Вот к чему приводят и чем заканчиваются твои реквизиции, Василь», — наверно, так рассуждал Обдиралович, продолжая наблюдать за хозяином. Игнат отметил, что Василь тоже взволнован. Но, кажется, это у него от усталости; от физического, но никак не морального утомления? Не особенного Василь переживает, что его работа по изъятию хлеба и продуктов у крестьян в конечном итоге имеет такой печальный результат. Ведь верит же Василь в необходимость своей работы, в нужность и важность реквизиций. У него даже нет и намек на сомнение в правильности своих поступков. Любые попытки объяснить самому с собой, со своими мыслями на этот счет, заканчиваются победой большевистского сознания: «Василь думал о том, что, когда его снова отправят, он попросит, чтобы с ним послали не только смелых красноармейцев, но и хороших, хороших агитаторов». Василь, наверно, никогда не согласится с тем, что совершает преступление, грабя крестьян. Да он и грабительством это не назовет. Он всегда сможет сослаться на обстановку в стране на трудности с обеспечением продуктами города и армии. Но для чего тогда нужно было затевать революцию? Эх Василь, Василь! «Как бы ты сейчас повел себя, если бы узнал, чей ты сын на самом-то деле?» — возможно, говорила тоскливо и укоризненно одна половина души Игната. «Ровным счетом, ничего не изменилось бы!» — вероятно, утверждала вторая ее половина.

«Противоречивые чувства взбунтовались в нем и покатались большим неприятным клубком.

Одна душа говорила: «Мне все равно... Мне все равно...»

А другая досадно болела и молчала».

Приблизительно таковы были размышления Обдираловича, когда он сидел в гостях у Василя.

Однако другие дела и срочные проблемы вернули Игната из состояния

беспрерывных рассуждений. Он подумал, что знает Василя с детства, с того момента, как помнит себя самого. Ведь Василь в душе был всегда добрый. Он и сейчас такой, потому что вот ведь отдает же паек свой в польскую беженскую семью. Не может этого быть, чтобы он отказался попытаться помочь освободить из Смоленской чрезвычайной комиссии Суховея и Николая Концевого.

Игнат в деталях рассказал Василию то, что ему стало известно от Иры Саковичанки, приехавшей в Н. хлопотать за арестованных. Вводя Василя в курс дела, Обдиралович еще раз ощутил волнение, которое он испытывал, когда Ира поведала Игнату при их неожиданной встрече о причинах своего появления в Смоленске.

## IV

Николая Концевого и Суховея арестовали Смоленские чекисты, обвинив их в «контрреволюционной агитации и вредной для большевистской власти пропаганде среди крестьян». Чекисты перетрясли все вещи Концевого, забрали с собой его переписку, «некоторые белорусские книжки». Обвинения, выдвинутые против учителя и студента, поначалу казались Обдираловичу несерьезными: подумаешь, рассказывали крестьянам о необходимости возрождения белорусского государства. Игнат то ли по наивности, то ли чтобы успокоить Иру Саковичанку, убеждает последнюю не волноваться зря, когда та говорит ему, что Суховею и Концевому за их «белорусскую работу» от «партийно-тупых противников «всякого там еще возрождения» угрожает расстрел:

— О, храни Боже, этого не может быть, вы несправедливо плохо думаете о большевиках. Невинных не могут убить! <...>

— Игнат Осипович! <...> Не будем вдаваться в критику большевистского строя... только всеми, силами помогите спасти наших арестованных, ибо, не дай Бог чего... это будет такая потеря, такая утрата, если бы вы только, могли знать! <...>

— <...> только же вы заранее не принимайте так к сердцу; я думаю, что все обойдется совсем не так страшно <...>

Думая о Николае, «милом Николае», этом «привычно искреннем и мягком человеке», с которым он учился и которого высоко ценил, Игнат вспомнил войну, фронт, «боевой участок своей роты в Полесье», Обстоятельства, связанные с избиением «великороссами» «капитана Н. — украинского самостийника». Обдиралович вдруг осознал масштаб трагедий, все горе, обрушившееся на плечи этого человека:

— Боже мой! Николай, добрый, славный Николай в N-ской «чрезвычайке». Это же несчастье! Или какая-то ошибка! Его же необходимо спасти!

По мере того, как Ира Саковичанка рассказывала о своих неудачных попытках получить пропуск в чрезвычайную комиссию, Игната оставляло ощущение спокойствия, которое только что пытался передать девушке. Он уже не успокаивал ее, а лишь внимательно слушал, перенося на себя ее переживания!

С Ирой, дочерью лесничего, он был знаком уже несколько лет, с тех пор, как она приехала работать земской учительницей в их уезд. Во время войны он ее из виду потерял, но не забывал. И вот такая неожиданная встреча в Смоленском совете.

Игнату было известно, что Ира Саковичанка закончила в Смоленске гимназию, любила крестьянских детишек и с удовольствием занималась их обучением.

Нить давнишних воспоминаний неожиданно прервала стремительно ворвавшаяся в сознание мысль: если Ира возможную потерю Николая сравнивает со смертью своей матери, то как же много Николай для нее значит! Для нее, для ее судьбы и для белорусского движения. Душа подсказывала и шептала Игнату: «Займись этим делом, помоги Ире, ведь ей так же больно, как невыносимо больно бывает переносить смерть матери. Не так ли было у тебя самого совсем недавно?»

Ира, несомненно, заслуживала уважения, потому что беспокоится за другого человека, переживает, хлопочет, тратит время и нервы. А испытать ей пришлось за один сегодняшний день, даже за первую его половину, неизмеримо много. Это и грубость солдат, их безразличие к судьбе арестованных и твоей собственной, хамство, неразбериха, очереди всюду, постоянное чувство неизвестности и неопределенности. Максим Горецкий показывает нам эпизод из жизни Смоленска ранней осени 1918 года. С всегда присущей писателю точностью и объективностью предстает перед нами картина, нарисованная контрастными красками. Можно сказать, что это пачка черно-белых фотографий, сделанных в те далекие годы, но обнаруженных только теперь, спустя восемь десятилетий.

«Сняв номер в гостинице, скоренько освободившись, она с замиранием сердца вышла на улицу и быстро пошла в «чрезвычайку», чтобы за один день успеть сделать все, что там потребуется».

Дом, где размещалось страшное большевистское заведение, был хорошо знаком девушке: до войны в нем была епархиальная школа, Ира ходила туда на вечеринки, на танцы. Только теперь мало кто ходил мимо того дома, и то — по середине улицы, потому что здание с каменной стеной и тротуаром было высоко обнесено оградой и обвито колючей проволокой. Когда учительница подошла, возле ворот стояла большущая подвода, полная, с солдатскими булками белого хлеба, и солдаты бросали хлеб с нее на землю, на подстеленные одеяла. Ира туда не пошла, а на крыльцо, по бокам которого стояли два красногвардейца с карабинами. Они спросили у нее пропуск, а когда показала свои документы, то старший солдат



сказал, что эти документы для них «плевать», а нужен пропуск от городского коменданта. Поблагодарила и побежала искать коменданта города. Много кого спрашивала, где он живет, да никто не знал, кого она ищет, и говорили, чтобы шла в «совет», и солдаты не знали. Однако, какой-то мальчик-газетчик, у которого купила газету, сказал, что управление коменданта за мостом, около вокзала. Скоро подошел трамвай, — она села и поехала.

И там, возле комендантского дома, на улице много было солдат и разных людей. Впускали туда только тех, кто был советским служащим или знаком солдатам, а других — нет. Ира долго не могла понять, в чем дело, что ее, и еще каких-то крестьян, и еще каких-то городских людей не пускают, и никто ничего не знал, кого она только ни спрашивала. Солдаты, стоявшие у дверей, кричали: «Успеете, успеете, чего лезете?», В «хвост» интересующихся все увеличивался, и уже за спиной у Иры стоял без малого десяток человек. Все это не обещало ей ничего хорошего, но твердо хотела ради дела быть необычайно спокойной и терпеливой. И вдруг вышел, по-видимому, писарь и начал раздавать ожидающим белые билетки, но не всем, потому что другие пообступили с боков и совали ему прямо в лицо синие билетки, но им ничего не давал. Пока Ира рассмотрела, что на ее белом билетике стоит около печати абы-как наскрябанная дата завтрашнего дня, писарь крикнул: «Синие — прием... начинается!» — и скрылся. Синие ринулись в двери, толкаясь и не обращая внимания на солдат с винтовками, а белые, будто бы в чем-то виноватые, недоуменно отошли и осматривались. Ира остановилась возле обгрызенной конем липки, чтобы обдумать, что делать, и к ней подлез какой-то местный человечек, с немытым лицом <...> и сказал ей совсем неслышно, что он может поменяться билетами. Ира была рада, потому что уже минул полдень, и мог пропасть один день совсем. И хотела поменяться, да почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд, посмотрела туда и увидела какого-то толстого, с зеленым больным лицом человека в ободранном пальто, который взором разговаривал с нею о том же самом, что и черный. Ира забеспокоилась, чтобы из этого обмена не случилось какой-либо неприятности, — пусть лучше пропадет целый день. Тогда черный пошел к крестьянам, а оборванец-чиновник приблизился к ней <...> и сказал, доставая из рукава синий билетик:

— Не упрекайте изголодавшегося и дайте что вашей милости угодно.

Ира поменялась билетиками и дала чиновнику три царских рубля, а чтобы не видеть, как он кланяется и как по зеленому лицу ползет слеза, быстрее пошла мимо людей и солдат в канцелярию. <...> она стала в небольшую очередь перед столиком писаря и с ужасом увидела конец другой очереди, тянувшейся в какой-то коридорчик к дверям закрытого помещения с дощечкой над ними: «Комендант». <...> Она показала свои бумаги писарю. Тот взял их и сказал, чтобы приходила завтра, так как сегодня комендант все равно не успеет принять. Ира как будто

несмелым, однако настойчивым голосом спросила: «А нельзя ли достать пропуск без коменданта?» и затем тверже добавила: «У меня все документы в порядке, вот...» Она уже одна только стояла перед писарем, а он долго читал и рассматривал ее бумаги, после чего сказал ей:

— Так чего вы от нас хотите, товарищ? Мы пропуск в «чрезвычайку» не выдаем. Выдает Совет. <...>

— Простите! Меня к вам послали за пропуском с «чрезвычайки», не сама же я выдумала...

— Товарищ, не спорьте!! Не могли вас послать к нам, потому что пропуска в «чрезвычайку» мы не выдаем уже около месяца, понимаете вы или нет?

— Я понимаю... Только скажите, будьте снисходительны конкретно, кто же теперь выдает?

— Совет, разумеется... Обратитесь там к коменданту здания Совета — улица Карла Маркса, бывшая «Белорусская гостиница», каждый дурак вам покажет!»

Обдиралович, уже ставший привыкать к гражданской жизни и службе, достаточно усвоивший чиновничьи порядки в городе, объяснил Ире, что наличие любого документа еще не означает вовсе, что перед ней немедленно откроются все двери. И даже имея на руках билетик на прием к дежурному писарю общей канцелярии Совета, совсем нет уверенности, что она туда попадет: у нее номер 315, а писарь решил принять только 300 человек. И никто ему не указ.

— Если вы, Ираида Евгеньевна, не имеете ни одного знакомого винтика в этой новой пишущей машине, то долго бесполезно будете стоять в разных очередях, — сказал Обдиралович.

Уж он-то знал и был убежден, что такие важные вопросы надо пробовать разрешать не обычным путем. Так он и собирался поступить.

Обратиться к Василию, а через него к Горшку заставило Игната известие, полученное им в Смоленской ЧК, о причинах ареста Концевого и Суховея. Обдираловичу удалось собрать максимум нужной информации: «на поруки учительскому союзу, либо школьному совету их не отдадут, что необходимы для их освобождения постановления комитетов бедноты<sup>10</sup> и что увидеться с ними можно будет только в субботу и то в присутствии караула».

## V

То, что услышали и узнали Обдиралович и Василь в скором времени на квартире у Горшка, потрясло их обоих несравнимо больше, чем любые повседневные разговоры о недостатках большевистского правления. Оба неожиданно для себя стали свидетелями тайны, известной немногим. Но ужаснее всего были подробности большевистской расправы над крестьянами,

издевательства, которым подверглись арестованные, и тот тон, при помощи которого Горшок и Горелик передавали детали описываемого.

Игнат и Василь застали Горшка в самый разгар пьянки, организованной большевиками по поводу подавления крестьянского бунта. Горшок не удивляется приходу гостей, он предельно откровенен с ними, гостеприимен. У него нет оснований не доверять Василию, «хорошему коммунисту», с которым год назад совершал революцию в Москве. Какие-то симпатии он испытывает и к Обдираловичу, когда-то «выкинутому из университета» за сочувствие к страданиям народа, спасшему в Москве, в 1917 году, его жизнь. Горшок знакомит пришедших с Гореликом и больше для себя, нежели для присутствующих, говорит поводе пьянки:

— Товарищ Горелик! <...> Потрудились мы с тобой сегодня хорошо, даже очень... Я считаю, что имеем право сегодняшней вечер пробандурить, а?

Узнав о причине столь позднего визита к нему, о какой-то, еще не совсем понятной связи Обдираловича с Н. Концевым и Суховеем, Горшок и Горелик откровенно и пренебрежительно насмеваются над Игнатом:

— А что тут соображать? — заговорил Горелик. — Товарищ, как видно, самостийник еще одной, кажется, совсем новой — белорусской формации. Украинских-то я хорошо знаю, потому что расстреливал своими руками, когда был на Южном фронте...

Не промолчал и Горшок:

— О, и я тоже знаю самостийников, даже белорусских. Двух таких привели в нашу «чрезвычайку» за контрреволюционную пропаганду. Но не могу поверить, чтобы товарищ Обдиралович занимался тем же самым, чем они.

Дошло и до унижения:

— Скверное, брат, плохое твое самоопределение, — говорил Горшок Обдираловичу, когда язык у него совсем заплетался. — Скверное, брат ты мой, — стучал он его по плечу кулаком, — потому что все это панские штучки, чтобы поссорить нас про...проле...лелелета-ариев. Я знаю, ты — сын помещика, и смотришь на меня, и смеешься, думаешь: напился человек, как свинья, а еще большевик. А я, брат ты мой, пью не от радости, а с горя... Горе нам большое! Сколько про...проле...лелелета-ариев погубили, кровь пролили, а ре-во-лю-ци-ю еще не спасли от панов всего мира, нет, брат ты мой, вот что я тебе скажу... Наливай мне еще, Горелик! Я хочу выпить с этим бералу... бе-ла-ру-сом. И пусть живет инценал... инцинарационал... ин-тер-на-ци-о-нал! Пусть живет!!

— Пусть живет! — кричал пьяный Горелик. — Кричи, а то расстреляю за контрреволюцию, ну!

Остановить пьяных было невозможно. Горелик и Горшок наперебой, забыв, казалось, про присутствующих и вроде бы не обращая на них никакого внимания,

начали хвалиться «своими заслугами перед революцией» и рассказывать, как они убивали людей.

У Обдираловича было такое чувство, что «будто бы что-то липкое, чудовищное» заполняет его душу, в горле перехватывает дыхание. Состояние брезгливости, мерзости, отвратительности усилилось, когда Горелик стал рассказывать об усмирении им и Карповичем крестьянского восстания:

— Вводят их ко мне в штаб. «Бунтовался?» — «Бунтовался». — «К стенке». Раздевают, ведут в другую комнату, — слышим: трах! Валится и головой стучается. И так одного, и другого, и двадцатого, и тридцатого. Два родных брата были, поповичи, левые социалисты-революционеры. Предводителями были. Один аж млеет, белый, как мел, ноги подламываются, зубы стучат, и слово не может сказать, заикается. А другой... еще по одной, Карпович, что? — а другой, брат, молодчика, спокойный и голову высоко держит, хотя знает, что сейчас и его разденут. Подводят его. «Бунтовался?» — «Боролся с насильниками». — «Хочешь, чтобы тебя расстреляли?» — «Хочу!» — «О! Молодец! Ну, раздевайся». Расстегивает сорочку. «Костик! Будь смелей!» — говорит брату. «Может, хочешь чего? Проси», — говорю. «Написать записку матери». — «Пиши. А младшего ведите». Сомлел тот, поволокли, а этот кричит: «Прощай, Костик! Я пишу маме». А сам за клочок бумаги хватается, пишет, и рука, правда, дрожит: «Дорогая мамулечка. Не плачьте, — так надо. Костика уже повели... Выстрел. Свалился. Это он. Теперь я. Целую». Не дописал. Выхватил я наган и всадил ему пулю в лоб. О молодец!

Каким-то зловонием и смрадом отдавало от рассказа Горелика. Так вот что означает фраза «Рубить надо под корень. Жалеть их?», которую «любил говорить и часто произносил» Карпович. Вдруг ясно вспомнил Игнат, каково было его в общем-то положительное впечатление от большевистской агитационной речи Карповича перед крестьянами в канун выборов в Учредительное собрание. Тогда тоже ведь ощущалось раздвоение души в поисках ответов на главный вопрос: «Откуда все, и что оно?» И тогда тоже Обдиралович «удивлялся, что это в душе его с какой-то неприятностью двоилось», «один голос говорил: «Иди в партию!» — другой голос насмеялся над своею же половинкою и будто бы с каким-то недобрым утешением шептал: «Нет тебе партии! Нет тебе партии!»

Сейчас же, слушая пьяных Горелика и Горшка, Игнат оставался внешне спокойным. «Обдиралович имел такой характер, что что-нибудь необычайное в жизни не потрясало сразу души его болью или радостью». «Имел такой характер, что ничего не испытывал глубоко сразу. Зато, когда проходили дни, недели и месяцы и когда у других людей слезы высыхали, он потихоньку и все больше и больше усваивал то, что некогда фотографично отпечаталось в его памяти, глубже и глубже чувствовал то, что других сбивало с ног сразу, а потом проходило в них и

забывалось ими».

Игнат замечает, что и Василию неприятно слушать эти пьяные откровения; что тот мучается, переживает, что в душе у того что-то происходит.

Конечно, ни Игнат, ни Василь не ожидали услышать что-либо такое жуткое, внутренне не были подготовлены к участию в разговоре, а потому были только его пассивными слушателями. Обдиралович, наблюдая за Василем, видел, что у того в душе идет сложная внутренняя борьба. Василь, кажется, начал понимать, что и он со своими реквизициями повинен в определенной степени в стихийном сопротивлении мужиков большевистскому насилию. Ну, конечно, это же хорошо заметно: вон как Василь смотрит на пьяного Горшка. Как разочаровавшийся в любимом учителе ученик. И злость Василя, которая вот-вот вырвется наружу, уже не та злость, с которой он говорил с Игнатом о реквизициях. Василию, вероятно, хотелось побыть одному. Он не в силах был сдерживать, как Игнат, свои эмоции; обращаясь к Горелику и Горшку, раздраженно бросил:

— Так нечем хвалиться, если убили больше невиновных, чем виноватых.

Фраза, произнесенная Василем, явно была недостаточно продуманной, но откровенной, шла она от глубины души. И это тоже заметил Обдиралович.

Жестокость большевистского режима и Смоленской ЧК находила свое проявление не только в деревне, но и в городе. Не приходится сомневаться в исключительной точности и правдивости Максима Горьцкого, когда он пишет в повести о расстрелах в Смоленске бывших представителей имущих классов, якобы замешанных в контрреволюционном заговоре. Вне всякого сомнения, на Максима Горьцкого повлияли сентябрьские сообщения смоленских газет «Звезда» и «Известия...», где в хронике городской жизни печатались списки расстрелянных: нотариус, директор колонии малолетних преступников, купцы, ветеринарный врач, студент, бывшие офицеры и жандармы, помещики, священники, присяжные поверенные, банкир, представители различных политических партий, запрещенных большевиками, землемер, врач, бывший пристав, бывший городской. И когда Максим Горьцкий рассказывает нам о личности Горелика, бывшего капитана русской армии, а теперь «тайного агента» Московского союза «Освобождение России», мы, конечно же, проводим аналогию со сфальсифицированным смоленскими чекистами «Заговором генерала Дормана», якобы раскрытым в городе, уездах и губерниях Западной Коммуны. Из номера в номер чекисты, комментируя на страницах газет списки расстрелянных, убеждали смолян в ликвидации ими общества «Защита Временного Правительства», ставившего, по версии ЧК, «своей целью вербовку людей для свержения Советской власти» и «особой контрреволюционной организации» «дорманцев» и «белогвардейского союза», «имевших своей целью свержение Советской власти и утверждение военной диктатуры»<sup>11</sup>. Именно с такой задачей, как пишет

М. Горецкий, появился в Смоленске представитель «Освобождения России» Горелик: «Союз имел цель восстановить «единую и неделимую» российскую империю и рассылал своих людей сплошь по всем ее бывшим частям» Горелика «как белоруса по рождению послали работать на Беларусь с огромными суммами денег и важными поручениями самого секретного характера», в том числе и проникнуть в Красную Армию. Как же это все переключается с материалами газет, сообщавшими об «агентах, проникавших в Советы, выведывавших нужные им сведения и передававших своей организации»<sup>12</sup>; о «бывших офицерах [,] членах боевой организации «дорманцев», «проникших в Красную Армию со специальными поручениями от штаба»<sup>13</sup>; о «бывшем офицере [,] доставлявшем белогвардейцам деньги»<sup>14</sup>.

Игнату Обдираловичу и Василю было больно, каждому — по-своему, слушать рассказы Горелика и Горшка о бесчинствах, совершенных последними по отношению к мирному населению. Тяжело и больно было и Максиму Горецкому, читавшему, несомненно, списки расстрелянных в газетах. Мы чувствуем это по тем переживаниям, которые испытывает Игнат Обдиралович, особо тонкая, чуткая и интеллигентная натура. Собственно, это было присуще любому честному человеку, непосредственно или заочно соприкасавшемуся со злодеяниями большевиков и чекистов. Характерный пример тому — статья анонимного автора под названием «Нервы», помещенная 21 сентября 1918 года в № 224 «Известий...» (стр. 2):

«Когда в редакцию приносят список подвергнутых расстрелу, когда кто-либо из коммунистов — сотрудников читает вслух этот список, называя зачастую фамилии знакомых людей, — не скроем мы — по лицам читающего и слушающих проходит нечто вроде судороги.

Такая же судорога нередко искажает лица наборщиков, во время набора списка казненных, такое же волнение испытывают типографские работники <...>».

Сейчас не каждый из нас, наверняка, до конца может проникнуться той чрезвычайно тяжелой и накаленной обстановкой, в которой жил Смоленск осенью 1918 года. Расстрелы крестьян, зажиточных городских и «бывших» людей сопровождалось многочисленными арестами их родственников. Что приходилось им испытывать в тюрьме и Смоленской ЧК, видно, например, из другого рассказа-откровения Горелика Обдираловичу: жесточайшие избиения, издевательства, унижения (Горшок находил удовольствие в том, что плевал в лицо арестованных). Этот кошмар большевистского правления испытывало абсолютное большинство и городского, и сельского населения. Особенно в период, когда большевистские власти на неопределенное время закрыли въезд в Смоленск. Городские жители чувствовали, что большевики обращаются с ними как с животными, попавшими в коммунистическо-чекистский загон. А крестьянам, и

вообще жителям сельской местности, оставалось лишь переживать за жизнь и безопасность своих родственников и близких. Вот, к примеру, о чем думает наша героиня Ира Соковичанка, когда узнает о запрещении въезда в Смоленск: «услышав от людей, что там идут расстрелы, а она приехать туда, чтобы защитить своих, не может, — просто с ума сходила от черных мыслей».

Очень точное и совершенно необыкновенное по своему откровению свидетельство того периода обнаружено мною в одном из уголовных дел, хранящихся в архиве Управления ФСБ РФ по Смоленской области. Это подлинники писем за 1918 год Николая Владимировича Потёмкина, санитаря Смоленского Лазарета общества Красного Креста, своей бабушке в родовое имение Отрадное Духовщинского уезда: «<...> спрашиваю я это потому, что возможно что теперешние порядки могут задержаться еще на довольно продолжительное время, хотя и более вероятности, что долго не продержатся, — но что будет вместо теперешняго не известно, может быть еще хуже, так что ко всему надо быть готовым <...> по дороге теперь все решительно отбирают красногвардейцы и ни на какие удостоверения не обращают внимания: их приказано было распустить, но они самовольно не пожелали разойтись, а так как им теперь провианта больше не дают от казны, то они ходят шайками по большим дорогам и грабят проезжающих и уж конечно от такой шайки не спасут никакие удостоверения <...>» В другом письме Н. Потёмкина читаем: «<...> Пожалуйста, напишите мне, что делается у меня в Отрадном, слышал я, что в Тяполове и у всех помещиков Тяполовской волости окончательно разграбили скот, лошадей, хлеб и прочее имущество; — так-ли у меня в Отрадном? <...> в городе чувствуешь себя, как птица в клетке, но как подумаю, что, быть может придется быть свидетелем того, как будут грабить и растаскивать собственное имущество и проч [их] ужасов, то раздумываешь; <...> по прежнему ждем немцев, но они все еще не приходят, а теперь вследствие порчи дорог, явятся вероятно не раньше как через месяц; с одной стороны хорошо, если они придут, тем, что они возстановят порядок и правосудие <...> Наши остолопы-большевики продолжают издавать зверские декреты, один несообразнее другого; слава Богу еще, что их некому приводить в исполнение <...>»<sup>15</sup>

Вряд ли выдержки из писем Н. В. Потёмкина нуждаются в каких-то особых и подробных комментариях. Но о двух моментах, имеющих отношение к повести М. Горьцкого, хочу все-таки сказать.

Автор писем болезненно переживает возможное разграбление родового поместья ставшими неуправляемыми крестьянами. Видимо, такое чувство испытывали все бывшие хозяева имений и земель, усадеб и парков. Поэтому кажущееся равнодушие Игната Обдираловича к факту разграбления отцовского дома, семейной библиотеки в нем, архива, т. е. всего того, чем гордились несколько

поколений хозяев владений, в которых прошла его юность, выглядит в повести «Две души» малоестественным, если не сказать больше; это равнодушие временное. Вспомним о характере Игната, о его способности переживать и испытывать боль через значительные промежутки времени. И те фотографии из семейного фотоальбома, с которыми играли крестьянские детишки в школе, еще напомнят Игнату о своем прошлом, заставят заговорить память и разбудят ненависть ко всему негативному и античеловеческому, антигуманному и антирациональному, т. е. всему тому, что сопровождает революцию и ее эпоху.

О возможной оккупации немцами Смоленска говорилось весной и летом 1918 года открыто. Демаркационная линия проходила относительно недалеко, немецкие войска стояли под Оршей — на прямом пути в Смоленск. Максим Горецкий в статье «Будем жить!» («Известия...», 1918, № 38 (66), 2 марта, С. 1), опубликованной за один день до подписания Брестского мира, писал о распространении таких слухов в городе: «Немцы в тридцати верстах от Смоленска...» И, надо сказать, что ожиданием прихода немцев, вчерашних врагов, жили не только смоляне. Этот случай в истории далеко не единственный. Большинство населения Вильны (белорусы, литовцы, поляки) в 1915 году точно так же желали занятия германской армией своего города, правда, совсем по иной причине. Очень хорошо описал это состояние городского населения Вильны и его открытую ориентацию на немцев Максим Горецкий в своем романе «Виленские коммунары».

Однако, возвратимся к письмам Н. Потёмкина. Эти письма попали из уездной в Смоленскую ЧК, Николай Потёмкин был обвинен в участии в обществе «Защита Временного Правительства» и по постановлению ЧК от 3 сентября расстрелян<sup>16</sup>.

Трагическая судьба Н. Потёмкина была типичной для очень многих жертв большевистского произвола. Смоленские чекисты незамедлительно хватали в качестве заложников любого «бывшего» по любому подозрению, или самому пустяковому поводу. Максим Горецкий, разумеется, об этом знал и, как недавний офицер русской армии, сам мог быть арестован в любое время. Очень многими своими переживаниями и волнениями М. Горецкий наделил главного героя повести Игната Обдираловича.

В качестве предлога для ареста чекисты могли избрать многое; Игнат Обдиралович ходил в офицерской шинели, правда, без погон; носил офицерский головной убор, хотя и без кокарды, но с хорошо различимым пятном от нее на околышке; неплохо играл на гитаре и танцевал. Сейчас, возможно, не поверится, но этого было тогда вполне достаточно, чтобы вызвать подозрение у смоленских чекистов. В подтверждение своих слов приведу один пример, 25 августа 1918 года в саду на Блонье был задержав сотрудником Смоленской ЧК Танцов Борис



Захарович, врач при Следственной комиссии Военно-Революционного Народно-Административного Суда г. Смоленска. У сотрудника ЧК, проявившего сверхбдительность, вызвала подозрение личность Б. Танцова, отказавшегося вступать в диалог с чекистом, когда последний обратился к нему со словом «Товарищ».

Б. Танцов ответил, что он не товарищ, а на недоумение сотрудника ЧК пояснил, что является городовой врачом. Слово «городовой» в этой истории оказалось ключевым: Б. Танцов был задержан, доставлен в ЧК и обвинен в непризнании слова «товарищ» (дело № 650). 17 сентября Б. Танцов был приговорен на заседании ЧК к расстрелу и расстрелян <sup>17</sup>.

Обдираловичу, кроме всего вышесказанного, приходилось быть в постоянном напряжении и от того, что в ближайшем своем окружении он был известен как сын помещика. Поэтому Игнату нужно было иногда скрывать свое происхождение и социальное прошлое, свое образование, свое воспитание в родовом поместье Обдираловичей, хотя их фамильный дом и разграблен в настоящее время окрестными мужиками. Надо было, наряду с этим, держать в тайне получение письма от старого Обдираловича, находящегося за демаркационной линией, в Вильно. Не будешь же кричать и оправдываться, что ты сын простой крестьянки. Да и кто тебе поверит?

Максим Горецкий, работая над образом Обдираловича, старался придать ему такие черты характера, которые были свойственны белорусам-интеллигентам, проживавшим в 1918 году в Смоленске. Многие, как уже говорилось мною ранее, автобиографично. Но очень многое, вместе с тем, присуще и ряду лиц из смоленского окружения писателя: его брату Гавриле Горецкому; Янке Купале и другим. Хорошо известно, что проживая в Смоленске с конца 1917 года, молчал и не публиковался Янка Купала, потому что дикие расправы над бывшими офицерами были страшной реальностью, и от этой беды и трагедии никто не был застрахован, в том числе и он — бывший военный дорожно-строительного отряда Варшавского округа путей сообщения. Десять лет спустя, в 1928 году, Максим Горецкий сделал, насколько это было возможным при советской цензуре, попытку объяснить молчание в 1918 году отдельных писателей, в частности, и Янки Купалы:

«В первые годы революции некоторым белорусским писателям не писалось, либо скверно писалось. Причиной тут, определенно, был и бурлящий характер времени: война, голод, холод, оккупации и исключительная необходимость в произведениях очень актуального, главным образом агитационного значения, и техническая отсталость в условиях экономической разрухи. Однако не только это. Причиной тут был также идеологический кризис большинства белорусских писателей.

Вследствие того, что творчество белорусского писателя в это время, должно, было иметь актуальный характер, автор нуждался в какой-то сильной установке на конкретную политическую идеологию»<sup>18</sup>.

Вполне возможно, именно Янка Купала, работавший в Смоленске разъездным агентом по заготовке сельскохозяйственных продуктов, доверительно рассказывал Максиму Горецкому об известных ему фактах большевистских реквизиций на селе; о деятельности там комитетов бедноты, заменявших порой ЧК и не менее жестоких в принятии решений; о возмущениях крестьян и народных мужицких волнениях.

Год правления большевиков принес море людской крови и страданий. Обдиралович, конечно, понимает это. Но отчего же тогда такие противоречия между словами и действиями коммунистов? Почему столько много горя вокруг? В какой степени виноваты в этом большевики? И что будет в той части Беларуси, которая сейчас находится за демаркационной линией, когда оттуда уйдут немцы и придут большевики? Что будет с его родной Беларусью? Сможет ли народ выдвинуть на политическую арену своих лидеров?

Десятки и даже сотни вопросов задает себе Игнат Обдираловки. На некоторые он находит ответ, над другими еще размышляет, все время находясь в состоянии поиска объяснений происходящего и постоянного копания в собственных мозгах. А время-то летит так стремительно, не успеть за событиями, какой уж там их анализ. От всего этого у Игната часто «нарушается черед его печальных мыслей», мучительных раздумий. И снова душа двоится. «Две души. Та, что плакала и жаловалась на другую, зачем она мучает ее обманами, теперь твердеет, но делается недоброю, набирает все больше какой-то жесткости и даже жестокости. Пусть себе эта плачет по какой-то барышне. Ей не жаль, и она не содрогнется, когда дикая людская толпа разорвет в клочья и князя, и Макосея-миллионера, и умника-армянина. Ей не жаль... А эта, вторая, подумала и содрогнулась».

О, если бы у нас появилась фантастическая возможность спросить у Обдираловича о его отношении к революционным символам, к той же революционной песне, теперь, когда ему стали известны конкретные зверства и бесчинства Смоленской ЧК и большевиков! Неужели и сейчас его еще возбуждала бы музыка «Интернационала»?

Ведь даже сами большевистские идеи дискредитированы донельзя. Обдиралович, противник крайних взглядов и действий, понимает, что большевистская власть, вероятнее всего будет навязана белорусскому народу в ближайшее время. Но неужели коммунистическое учение оказалось ошибочным? Тогда, выходит, сто раз неправ его молочный брат Василь, возвращенный на идеях К. Маркса, читающий «Капитал» и признающий только коммунистическую

литературу. И неправ не только в вопросах реквизиций на селе.

## VI

«Поиски высшего смысла» (Дм. Бугаев), глубочайший психологический анализ происходящего и наблюдаемого присущи большинству ранних прозаических произведений Максима Горьцкого. Еще в своем первом рассказе «В бане» (1912 г.)<sup>19</sup> мы наблюдаем впечатляюще описанное раздвоение души Клима Шамовского: «Мысли плавали, цеплялись одна за другую, роем метались в голове»; «И летели мысли. И дрожали струны души удивительно-грустным звуком».

Рассуждения же Игната Обдираловича, те выводы, к которым он постепенно приходит — это, прежде всего, итог семилетних исканий самого Максима Горьцкого, жизненное credo уже сложившегося возрожденца, constantis состоявшегося писателя.

Противоречия между словами и делами коммунистов, русификаторская, под маской интернациональной, и даже в какой-то степени имперская политика большевиков вызывают возмущение Игната Обдираловича:

— <...> Мне кажется, что все несчастье здесь от разлада теории и практики. Потому что, скажите, пожалуйста: теория коммунизма позволяет, чтобы московские или какие иные коммунисты насильно обмоскаливали белорусов? Теория интернационала виновата в том, что белорусским народом руководят сейчас большевистские комиссары всяких наций, кроме белорусской? Или она виновата, что в нашем знаменитом Облиском-запе<sup>20</sup> есть армяне, латыши, евреи, поляки, московцы, но нет нас, белорусов? Что провинция имеет только таких хромых белорусов, как этот Горшок?

Будучи постоянным автором и читателем смоленских «Известии...» М. Горьцкий, конечно, знал национальный состав руководителей Облискомзапа. Список отделов исполкома и их руководителей не раз печатала газета<sup>21</sup>. Так, может быть, Игнат Обдиралович излишне категоричен? Нет, крайность во взглядах и высказываниях, как уже отмечалось, ему не присуща. Действительно, в 1918 году, как это ни странно, среди первых руководителей областного исполнительного комитета нет ни одного белоруса. А армяне, латыши, евреи, поляки и русские есть: К. И. Ландер, И. Я. Алибегов (Алибегянц Аганес Акопович), В. Г. Кнорин, Р. Пикель. И. Савицкий, Г. Найденков, А. Ф. Мясников (Мясникян), И. Рейнгольд, А. Андреев, К. Розенталь, М. И. Калманович, С. Иванов, С. И. Берсон и В. Яркин, «известный в Смоленске своей кровавой ненасытностью...»<sup>22</sup>. Очень метко по этому поводу с утонченной иронией сказал их современник, анонимный поэт: «Вседержатели судьбы» («Звезда», 1918, № Ц5 (220), 1 августа, 92).

О их «сострадательной» и «сочувственной» «любви» к Беларуси говорит

факт разгона ими в декабре 1917 года Первого Всебелорусского съезда в Минске, о чем знало местное население и по эту сторону демаркационной линии<sup>23</sup>. По сути дела, разгон «всякими приبلудами, что чужого края не шадят, без нужды уничтожают»<sup>24</sup> Первого Всебелорусского съезда можно рассматривать в качестве генеральной репетиции последовавшего в скором времени разгона большевиками Учредительного собрания. Но от облыскомзаповцев, «простых приблуд», а «известно, за войну собралось их на фронте разных, не столько добрых, как злых»<sup>25</sup>, иного и не следовало ожидать.

Было бы неправдой утверждать, что белорусская жизнь в Смоленске в 1918 году находилась в состоянии полной парализации. Это, разумеется, не так.

Во второй половине года Максим и Гаврила Горецкие издали в Смоленске «Русско-белорусский словарь» (около 3000 слов)<sup>26</sup>. Игнат Обдиралович в повести «Две души» так говорит об этом событии:

— Я давеча даже словарь московско-белорусский купил. Нашел выставленный в витрине.

Планировалось издание в Смоленске своей белорусской газеты, о чем «Известия...» в августе 1918 года сообщала четыре раза:

«Отдел Изд. печ. и агит. Смоленского Отделения Белор.. Нац. Комиссариата. В Смоленске выходит 2 раза в неделю белорусская газета «Рунь» Известия См. Отд. Бел. Нац. Комиссариата. Лиц знакомых с белорусоведением просим посвятить в газету свои статьи по истории революц. движения в Белоруссии, географий, этнографии Белоруссии, истории белорусского народа и прочее, относящееся к белорусскому вопросу.

Плата по усмотрению редакции.

Адрес: Смоленск, Вит [ебское] шоссе, д. № 9. Издательский Отдел Смолен, отд. Белор. Нац. Комиссариата»<sup>27</sup>.

Но замысел М. Горецкого и Д. Жилуновича не удался. Ни один из 3-х номеров подготовленной ими газеты в свет не вышел из-за сопротивления со стороны латыша В. Кнорина и армянина А. Мясникова<sup>28</sup>.

Как жить дальше? Снова «висеть между двух магнитов»? («В чем его обида?»). Не пора ли ему, Игнату, определиться?

Может быть, правы Ира Саковичанка, Суховей и Николай Концевой, избравшие свой путь борьбы за достойное существование? Да, наверное, правда на их стороне и зря, зря Обдиралович обиделся на упреки Иры: ей трудно понять, и она не знает, «что делается» в его душе.

Состоявшееся в тюрьме свидание с Николаем Концевым и Суховеем окончательно укрепили его в мысли заняться просвещением своего темного народа, поверившего в сказки большевиков: «мало понимают; мало знают, — ой нужна работа!». («В чем его обида?»). Игнат даже испытывает какую-то «злость на

народ», идущую от смирения перед коммунистическими порядками. Жалкий вид Николая Концевого, похудевшего в тюрьме, побледневшего и обросшего щетиной, измучившегося от постоянного страха перед возможным расстрелом и упавшего, духом, вызывает у Обдираловича чувство сострадания. Он успокаивает Николая, хотя последний не особенно верит в благополучный исход, потому что чувствует неопределенность в словах Игната. Желание облегчить, и как можно скорее, участь «своего любимого Николая», заставляет Обдираловича вновь прибегнуть к помощи Василя. И только узнав, что «арестованный Концевой за чрезвычайной комиссией уже не числится, а передали его N-му революционному трибуналу, — значит, дело его не страшное, по крайней мере, к стенке не поставят», немного успокаивается. Внешнее проявление волнения Игната передается Василю, и тот, используя свое знакомство и настойчивость, получает еще более точную информацию: «вот из-за того, что этот арестант не такой уж важный, его и переводят в бывший арестный дом, а оттуда и совсем отпустят на свободу до суда».

Максим Горецкий не говорит нам о дальнейшей судьбе Николая Концевого. Но по настроению и поведению Обдираловича можно легко домыслить за автора. Главное для Максима Горецкого — это твердость позиции Обдираловича и то спокойствие, которое в конечном итоге обретает его герой на последних страницах повести. И если Василь, как мы видим, начинает размышлять над действием своих коллег-коммунистов, искать не только положительное, но и отрицательное в их словах и делах: «Нет причины быть веселым, если всюду одна фальшь», то Игнат целеустремлен, собран и ясно видит свое будущее. Если для Василя газетный материал, посвященный трагической смерти Горшка — откровение, «потому что много записали там красноречивой ерунды и просто вранья про коммунистическую деятельность покойника», то Обдиралович испытывает досаду и даже стыд за свои прежние душевные метания.

Он-то сразу понял Горшка, когда тому доверили важный коммунистический пост в Смоленске: с виду сирота, а в душе Соловей-разбойник. К тому же Игнат единственный, кто знал об истинной причине его смерти, в то время как для всех она казалась загадочной. Игнат даже не пошел на торжественные похороны Горшка, хотя городской совет запретил в этот день работу, в том числе и магазинов, и строго обязал всех советских служащих явиться на похоронную процессию. Обдиралович видел, как «из домов понемногу высыпал рабочий люд, сходилась, шумел, выстраивался на похороны, будто бы солдаты на парад. С Заречья (надо полагать, с Заднепровья — Н. И.) и Слободы шли группками нарядные рабочие с красными ленточками на груди; они останавливались на углу и вслух читали прикрепленный к стене церемониал похорон: где кому собираться и откуда и в какое время выходить».

Шел красный батальон с музыкальным оркестром, промчался автомобиль с

дубовым венком, сейчас должен был начаться вынос».

Наблюдая из окна за «черным муравейником людей с красными знаменами, с грозными плакатами», за плывущим в толпе, «открытым гробом с покойником — на плечах у рабочих», Обдиралович, возможно, вспомнил недавнюю публикацию в смоленских «Известиях...» о митинге в Совнархозе, собравшем свыше 1000 человек. В тот день на митинге Меницкий, Пикель и Романовский, выступавшие с трибуны перед рабочими, предложили резолюцию, в которой ими было записано: «Пусть перед нами пройдут гробницы дорогих нам товарищей, но вместе с ними мы похороним и весь капиталистический мир...»<sup>29</sup>.

Зачем нужны все эти жертвы моему народу? Кто объяснит ему всю правду и укажет истинный путь к полной свободе? Ах, как нужен свой «пророк, который бы промыл нам глаза!» («В чем его обида?»). Есть ли он у нас сейчас, и кто он? Может быть, им станет Николай Концевой? Или сбежавший из Смоленской тюрьмы Суховой? Или же Ира Саковичанка? Или кто-то еще «там», за демаркационной линией?

А я сам? Не моя ли это судьба? Не мне ли предопределено и предназначено?

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. I—XIII разделы; 1919 г., 20, 22, 25, 26, 27, 29 июня; 3, 6, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 24 июля,
2. Петр Васюченко в статье «Диалектика души» подчеркивает: «Между автором и героем — немалая дистанция. Есть, пункты, по которым позиции существенно расходятся». См.: Максим Гарэцкі. Творы. Мн.: Маст. літ., 1990. С. 468. Здесь и далее перевод с белорусского мой.
3. В повести в чертах города N. угадывается не только Смоленск, — он в большей степени, — но и некоторые города Восточной Беларуси. Вообще, в целом, город N. — это провинциальный губернский город, откуда можно выписать оркестр на бал в поместье помещика; где домовладельцы, например, Макосей, за годы войны накопили миллионные состояния на беженцах из Польши, Литвы и Беларуси (значит, не оккупированный германскими войсками). Вместе с тем, автор повести, создавая собирательный образ города N., придает ему порой определенную конкретность и черты других городов, что объясняется, как мне кажется, ностальгией М. Горьцкого по небольшим Горкам, Мстиславлю или губернскому Могилеву (когда писатель вдруг вставил в повесть «Белорусскую гостиницу», едва ли не единственную с таким названием до революции на его родине). Но все же, события 1918 года, разворачивающиеся на страницах «Двух душ», происходят не в Могилеве, а в Смоленске. Когда заходит в повести речь о Могилеве, М. Горьцкий не скрывает это от читателя (XIV раздел). Один из ключей к расшифровке названия города N., наряду с биографией писателя, — другое

произведение М. Горецкого — рассказ «Всебелорусский съезд 1917-го года» («Беларускі звон», 1922, 1 сентября).

4. Смотри подробно об этом: Н. Илькевич: а) «Максим Горецкий (К 100-летию со дня рождения)»//«Край Смоленский», 1993, № 9—10; б) «Расстреляны в Вязьме (Новое о М. И. Горецком)»//там же, 1994, № 1—2.

5. Максим Гарэцкі. Творы. 1990.

6. Адамовіч А. «Браму скарбау сваіх адчыняю...» Мн.: Выд-ва БДУ, 1980.

7. Максим Горецкий в Смоленске жил по Авраамиевской улице, д. № 8 Геллера, кв. Степанова.

8. Эти мысли о деревне первоначально, до издания повести, были изложены М. Горецким в статье «Деревня», опубликованной 13 ноября 1918 г. в Смоленской газете «Западная Коммуна — Известия Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов Западной Коммуны и Смоленского Совета Рабочих и Красно-Армейских Депутатов» (№ 266. С. 2, подписана статья псевдонимом Ваш Амстиславский). В дальнейшем, при ссылке на эту газету, будет указываться ее сокращенное название — «Известия...».

9. М. Горецкий имеет в виду Петровичскую волость Климовичского уезда Западной Коммуны, в настоящее время Шумячский р-н Смоленской области.

10. С самого начала своей деятельности (август — сентябрь 1918 г.) Комитеты Бедноты использовались в своих целях чекистами в качестве активнейших помощников в сельской местности. В Западной Коммуне участие Комитетов Бедноты в Чрезвычайкомах было узаконено Резолюцией по организационному вопросу (пункт № 5) Конференции Чрезвычайных Комиссий Западной коммуны, состоявшейся 20 октября 1918 г. См.: «Известия исполнительных комитетов Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Западной Коммуны и г. Смоленска», 1918, № 249, 23 октября. С. 3. В дальнейшем — также «Известия...».

11. «Известия...», 1918, № 182 (210), 5 сентября. С. 2; №219, 15 сентября. С. 3.

12. Там же, № 219. С. 3.

13. Там же, №223, 20 сентября. С. 3; «Звезда» (Смоленск), 1918, № 260, 20 сентября. С. 4.

14. Там же. Подробнее о «заговоре» см.: Н. Илькевич. Расстреляны за заговор, которого не было. (Еще раз о деле генерала М. Дормана. 1918 год)//«Край Смоленский», 1993, № 7— 8. С. 26—53.

15. Архив Управления ФСБ РФ по Смоленской области, д. № 26702-с: «Дело по обвинению гражданина Ник-я Потёмкина № 377»; л. д. 5—5об, 6об—7об.

16. См.: «Известия...», 1918, № 182 (210), 5 сентября. С. 2.

17. См.: Н. Илькевич. Расстреляны за заговор, которого не было...; Городская жизнь//«Известия...», 1918, № 223, 20 сентября. С. 3; Разстрел

«Дорманцев»//«Звезда», 1918, № 260, 20 сентября. С. 4.

18. М. Горецкий. Беларуская літаратура пасля «Нашай нівы» (Агульны агляд)//«Маладняк», 1928, № 4.

Сам Янка Купала всегда с содроганием души вспоминал 1918 год. 20 сентября 1922 года он писал Б. Эпимах-Шипиле: «Там, где я прожил весь тяжелый и страшный 1918 год, я на самом деле жил, как в беспамятстве. И там же в Смоленске получил Ваше письмо с просьбой о посылке. Но послать я ничего не мог, потому что из Смоленска было запрещено что-либо посылать». См.: Янка Купала. Збор твораў у 7-мі т. Т. 7, В-ва «Навука і тэхніка», Мн., 1976. С. 452—453.

19. Впершы: Максім Беларус. У лазні//«Наша ніва», 1913, 25 январа.

20. Областной исполнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Западной области и фронта — первый высший законодательный (между съездами Советов) орган советской власти на территории Витебской, Могилевской, Минской, неоккупированной германскими войсками части Виленской, Смоленской губерний, что составляли Западную область, а также на Западном фронте (26. 11. (9.12.) 1917— 2.1.1919 гг.); с сентября – Западной Коммуны и фронта.

21. «Известия...», 1918, № 218, 14 сентября. С. 3.

22. Янка Купала. Справа незалежнасці Беларусі за мінулы год. В кн.: Янка Купала. Жыве Беларусь: Вершы, артыкулы. Мн.: Маст. літ., 1993. С. 339.

23. Максим Горецкий. Усебеларускі зъезд 1917-га года//«Беларускі звон», 1922, 1 сентября; криптоним Я. С...

24. Там же.

25. Там же.

26. Руска-беларускі слоўнік. Смоленск: Типографія Отдела народного образования. 108 с.

27. «Известия...», 1918, №№163, 164, 165, 167; 10, 13, 14, 16 августа. Сохранено правописание публикации.

28. Эрнест Ялугін. Без эпітафіі. Мн.: Беларусь, 1989. С. 115—116.

29. «Известия...» 1918, № 184 (212), 8 сентября. С. 3.